

новке которой в середине XIV в. была сформулирована и догматически зафиксирована философская база исихастской мистики, само воззрение на возможность непосредственной связи души с божеством жило во всей православной аскетической литературе, и лишь оно давало смысл монашескому пустынножителству вообще и святогорскому в частности. Если нужно искать внутреннюю связь философской базы исихазма с философским «реализмом» платоновских идей, то можно было бы задать вопрос: не явился ли вообще интерес к данной проблеме на Афоне в связи с идеями западного «реализма» в первой трети XIII в., когда Святая Гора находилась в границах Латинской империи и попала под непосредственную власть папы Иннокентия III? Но и вне этой связи конец XII и начало XIII в. были эпохой наиболее мощного расцвета мистицизма, и сербская житийная литература данного периода свидетельствует, что Святая Гора действительно жила в то время в обстановке напряженной духовной атмосферы, которая определила и идейное содержание южнославянской агиографии.

Следуя общепринятым в славистике представлениям, главным образом сформулированным в исследованиях К. Радченко и П. Сырку, которые при изучении южнославянской литературы XIV—XV вв. исходили из литературной и филологическо-реформаторской деятельности патриарха Евфимия, Д. С. Лихачев относит факт рождения нового южнославянского агиографического стиля к Болгарии и ко времени этого патриарха. «Болгария в XIV в. в целом была тем огромным центром, через который проходило византийское влияние в Сербию и Россию, центром, в котором это византийское влияние получало свою славянскую окраску, закреплялось в многочисленных переводах, освященных реформой письменности патриарха Евфимия».<sup>182</sup>

Нам это представление кажется в значительной мере односторонним. Прежде всего потому, что именно для XIII и XIV вв. наиболее характерной чертой в области южнославянской письменности является чрезвычайно близкая связь между сербской и болгарской культурной жизнью. Об этом говорит прежде всего большое число болгарских рукописей с сербизмами, так же как и сербских с болгаризмами, что свидетельствует о непрерывном обмене рукописями для переписывания. В отдельных памятниках, как например в Хиландарском Шестодневе 1263 г., сербские отделы чередуются с болгарскими, что указывает на совместный труд сербских переписчиков с болгарскими. В такой обстановке трудно определить, что первоначально принадлежало сербам, а что болгарам, если дело не идет о явном национальном предмете, как в житиях государей и церковных подвижников. Сами основатели болгарской филологическо-реформаторской школы — патриарх Евфимий и его учитель Феодосий Тырновский — были по своему воспитанию святогорцы, т. е. жили и трудились в кругу тех же философских и религиозных идей, а конечно, и литературных концепций, как и остальное святогорское монашество, в частности как хиландарская литературная школа той эпохи, деятельность которой нам неизмеримо более известна, нежели литературные труды в стенах болгарского Зографа.

Не находит подтверждения в источниках посредническая роль Болгарии в отношении Сербии и России в процессе перехода византийской литературы в XIV в. Что касается Руси — если по своему географическому положению Болгария могла играть эту роль — до конца XIV в. южнославянское влияние в данной области еще не настолько ощутимо, чтобы в нем

<sup>182</sup> Лихачев, стр. 15—16.